

Ю. Б. СОЛОВЬЕВ

### БУРЖУАЗНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О НАПРАВЛЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИИ В КОНЦЕ XIX—НАЧАЛЕ XX В.

В современной буржуазной историографии уделяется большое внимание истории России конца XIX—начала XX в. Период этот стал в последние годы привлекать буржуазных историков главным образом тем, что они увидели в нем аналогию с революционным процессом современности. Они надеются найти в прошлом России рецепты, пригодные для выработки Западом политики по отношению к странам и социальным силам, восставшим против господства империализма. В предисловии к изданному еще в 1965 г. сборнику «Императорская Россия после 1861 г. Мирная модернизация или революция?»,<sup>1</sup> в материалах которого выражена сущность представлений американской историографии о пореформенном периоде русской истории, его редактор А. Адамс отмечает, что поставленный в заглавии вопрос касается «в особенности развивающихся наций Латинской Америки, Африки и Азии». Именно стремление извлечь практическую пользу из опыта правящих классов и государственной власти в России привело к появлению в последние годы ряда исследований, в которых явственно проступает беспримерная острота и глубина кризиса самодержавия, отчетливо вырисовывается безысходный тупик, в который оно зашло, борясь с неудержимым развитием страны, и вообще неизбежность краха всего старого строя. Правда, такому подходу противостоит прежняя школа упрощенного объяснения истории России второй половины XIX и начала XX в., сторонники которой, представляющие и до настоящего времени основную тенденцию буржуазной историографии, изображают совершившийся в России в 1917 г. социальный переворот как итог длинной цепи случайностей, какого-то даже недоразумения. Сущ-

<sup>1</sup> Imperial Russia after 1861. Peaceful Modernization or Revolution. Ed. by A. E. Adams. Boston, 1965.

ность их концепции сводится к тому, что в России после реформы 1861 г. быстро совершился переход к новому строю экономических и общественных отношений и остановка была только за тем, чтобы наконец сменить власть, и так как все к этому уже было готово, то завершающий шаг в процессе обуржуазивания России тоже был лишь вопросом самого близкого будущего.

По установившейся в последние годы терминологии, сторонники таких взглядов на историю России стали именоваться «оптимистами», тогда как за их оппонентами закрепилось прозвище «пессимистов». При всех имеющихся между ними различиях их объединяет скептическое отношение к способности господствующих классов России, а также и самодержавия разрешить те громадные противоречия, которые были созданы и накоплены всем развитием страны после отмены крепостного права, и избежать революции. Между сторонниками обоих направлений в последние годы велись и сейчас все еще продолжают оживленные дебаты, в ходе которых позиции «оптимистов» подверглись достаточно едкой критике. Теперь и им приходится для того, чтобы быть принятыми всерьез, идти на усложнение рисуемой ими картины; признать существование многочисленных препятствий на пути «мирной модернизации». Образцом здесь может служить уже упоминавшееся введение Адамса, давшего в своем очерке такое сочетание света и тени, чтобы его нельзя было упрекнуть в упрощении сложнейших процессов, которые совершались в России. Он признает наличие в стране острых противоречий, которые наряду с неудачными войнами 1904—1905 и 1914—1917 гг. и близоруккой, неумной политикой Николая II явились ближайшими причинами революции как 1905, так и 1917 гг. Однако первопричиной революции он все же выдвигает то обстоятельство, что «Россия не смогла достаточно быстро и полно ответить на необходимость перемен, которые диктовались после 1861 г.»<sup>2</sup>

В свете этой аргументация тех, кто, подобно ряду авторов сборника, изданного Адамсом, хотел бы доказать, что революции можно было бы избежать, «если бы только та или другая из личностей крупного значения или организованных сил поступили иначе», выглядит достаточно шаткой, потому что сторонники такого объяснения упорно отворачивались от основного — объективно действовавших процессов, стараясь все свести к субъективному фактору, следовательно, в конце концов к случайности.

Взгляды «оптимистов», приведенные в сборнике, уже подвергались в советской историографии мотивированной критике.<sup>3</sup> В основе концепции «оптимистов» — выхватывание и абсолютизация какой-то одной черты развития или какого-то явления, игнорирование или по крайней мере недооценка противоречивости

<sup>2</sup> Imperial Russia after 1861. Peaceful Modernization or Revolution. Ed. by A. E. Adams. Boston, 1965, p. VIII.

<sup>3</sup> См.: Иоффе Г. З. Февральская революция 1917 г. в англо-американской буржуазной историографии. М., 1970, гл. II.

происходящего как первоосновы всей экономической и общественной эволюции. Однако нетрудно убедиться в том, что «оптимисты» в своем теоретизировании все же проявляют известную осторожность, сопровождая свою аргументацию разнообразными оговорками. Самый вопрос, включенный в название, — «Мирная модернизация или революция?» — так и не получил ответа. «Оптимисты» не заходят дальше констатации возможности первого исхода, наличия некоторых благоприятных, с их точки зрения, тенденций. Типичен вывод Л. Волина, занимающегося аграрной историей России, что если бы самодержавие смогло несколько десятилетий проводить столыпинскую политику «ставки на сильных», то не исключена была бы возможность, хотя и далеко не безусловная, воздвигнуть в деревне оплот против революции. Известную осторожность проявляет и А. Гершенкрон, аргументация которого и лежит в основе тезиса о возможности мирного преобразования России на буржуазный лад. В центре его интересов стоят проблемы, связанные с созданием промышленности в России в конце XIX—начале XX в. на протяжении приблизительно трех десятилетий перед 1917 г. В предлагаемой схеме он различает два этапа — девятилетие годы и 10—12 лет, предшествовавших революции. Для первого из этих периодов А. Гершенкрон готов признать острейшие социально-экономические противоречия, усиленные быстрым темпом и неравномерностью промышленного развития страны и ее экономической эволюцией в целом. Он пишет о противоречиях между высокоразвитой промышленностью и отсталым сельским хозяйством и неблагоприятных для самодержавия последствиях этого явления. Главным отрицательным фактором он считает полное истощение платежных сил сельского населения. «Терпению крестьянства пришел конец».

Однако все эти противоречия, как он пытается доказать, нашли в основном свое разрешение в последующий период, так что «многие из напряженных ситуаций, которые так бросаются в глаза в 90-х годах, либо вовсе исчезли, либо появились во втором периоде в значительно измененном и ослабленном виде».<sup>4</sup> Главное, ослабела основная опасность, возникшая для власти вследствие усиленной эксплуатации деревни — «давление на крестьянство уже не достигало прежней силы» — уверяет А. Гершенкрон. Давая столь благоприятное освещение общей обстановки, он отмечает существование и теневых сторон: «верно, конечно, что вся общественная и политическая структура империи была пронизана разнообразными крупными недостатками»,<sup>5</sup> что, в частности, крестьянство по-прежнему не признавало права помещиков на находившуюся у них во владении землю, а столыпинская реформа только обострила его недовольство. «Новая вспышка революционного насилия, — оговаривается он, — в какой-то момент

<sup>4</sup> Imperial Russia after 1861, p. 83.

<sup>5</sup> Ibid., p. 74.

была далеко не невероятна». И все-таки новая эпоха и 90-е годы представляют для него «разительное отличие» и отмечаемые им затруднения и конфликты, полагает он, имели тенденцию постепенно сгладиться. Если бы не война (первая мировая, — Ю. С.), Россия продолжала бы успешно продвигаться по пути превращения в страну западноевропейского типа с верным шансом наконец стать ею без потрясений и тем более революций — таков общий вывод и суть концепции Гершенкрона. Ее отличительные качества — прямолинейность и механистичность. Из нарисованной им картины полностью выпадает острейший кризис в связи с дальнейшим нарастанием противоречия между существующими порядками, — прежде всего самодержавием, не пожелавшим ни в чем главном и даже второстепенном идти на уступки, — и всем развитием страны.

Если принять трактовку А. Гершенкрона, то новая революционная ситуация накануне войны, все усиливающиеся напряженность в деревне и неудача столыпинской политики, по-видимому, не должны были иметь места, потому что если все это принять в расчет, то общее положение предстанет совсем в ином свете. Но в том-то и заключается суть подхода А. Гершенкрона к изучаемому периоду, что он, видимо, полагает, что с такими ли порядками или с какими-либо другими, с самодержавием или без него все равно все шло бы к лучшему, поскольку промышленность наконец-то становилась па ноги и завершалось создание в целом эффективно действующего финансово-производственного аппарата. Власть и ее деятельность, направленность ее политики, — поскольку самодержавие не выступает главнымдемиургом создаваемой промышленности, — им во внимание не принимается. И достаточно показательно изумление А. Гершенкрона, — раз он воспринимает царизм только в этом качестве, как бы деполитизируя его и не желая замечать, насколько архаично было это государственное устройство, — что «правительство, прямо связавшее себя с политикой создания промышленности, сошло с этого пути, чтобы обеспечить существование общины». Это представляется ему парадоксальным. Воспринимая самодержавие только как пекую сублимированную верховную силу, а не как гибнущий, давным-давно переживший себя государственный строй, не желающий и неспособный меняться и предприимчивый все шаги к новому главным образом для того, чтобы создать для себя новые возможности сопротивляться переменам, он и политику царизма воспринимает как нечто целостное, исходящее из одной лишь заботы о государственном благе.

На самом деле вся внутренняя политика царизма раздиралась острейшими и гибельными для него противоречиями, и в частности, если самодержавие всячески насаждало промышленность и создавало оранжерейные условия для ее развития, то оно же в нарушение всякой логики боролось с развитием капитализма, всячески препятствовало утверждению порядков этого уклада, ста-

вило всякого рода преграды его проникновению в деревню. Самодержавие — и этого А. Гершенкрон как раз не видит — и подхлестывало страну, насколько это было в его силах, и не давало ей сдвинуться с места. Ко всей внутренней политике самодержавия может быть отнесена ленинская оценка столыпинского курса, который затягивал еще туже узел «политических невозможностей и нелепиц».<sup>6</sup> Вот этой-то важнейшей для понимания всего происходившего стороны, этих политических невозможностей и нелепиц А. Гершенкрон не замечает вовсе, усматривая во всех действиях власти торжество строгого порядка и логики. Поэтому ему действительно кажется странным, что одно и то же правительство и подталкивает промышленное развитие и всячески оберегает общину, то есть, что оно делает одной рукой, то тут же разрушает и душит другой. Между тем все станет на свои места, если принять во внимание, что главным для царизма было не дать рухнуть всему старому порядку, на котором держалась и сама власть, и прежде всего не дать рухнуть устоям патриархальности, а политика поощрения промышленности проводилась в том ошибочном предположении, что она совместима с подобной консервацией и даже реставрацией патриархальных, по крайней мере сохранившихся с самых давних времен отношений. Прежде всего царизм хотел сохранить в старом виде деревню, видя в ней главный оплот патриархальности, подлинную основу отживших форм общественной жизни вообще. При оценке обстановки А. Гершенкрон не принимает в расчет главного: насколько архаична была сама власть во всем своем подходе к современной жизни, к новым капиталистическим по своей природе порядкам, насколько они воспринимались ею как нечто решительно враждебное.

Как обстояло дело в случае, показавшемся американскому историку странным, а между тем чрезвычайно выпукло рисующем суть и смысл внутренней политики самодержавия, — обнаруживает представленная Победоносцевым Николаю II в сентябре 1895 г. записка о необходимости во что бы то ни стало сохранить общину. Поводом к ее составлению послужило недавнее предложение Половцова новому царю приступить к ликвидации общины, так как — доказывал автор этого проекта — она составляет главное препятствие на пути развития производительных сил страны. Однако Николай познакомил с этим проектом Победоносцева и затем полностью встал на сторону последнего, когда тот решительно отверг замысел Половцова, считая, что существующий строй держится собственно на общине и с ее исчезновением он будет поколеблен в своей основе и не переживет этой перемены. Россия в записке Победоносцева была изображена как страна, подавляющая масса населения которой живет на грани нищеты или вообще в нищете, а община представлялась в ней единственным прибежищем для живущего в крайней бедности крестьян-

<sup>6</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 17, с. 364.

ства, гарантией от не такой уж редкой угрозы голодной смерти. Упразднить общину, то есть отдать деревню во власть капитализму, доказывал Победоносцев, значило лишиться этой гарантии и прямо ступить на путь гибели. «Отнимите у них дом и родную деревню, пустите их всех на фабрику. Тут уже *«Lasciate ogni speranza voi qu' entrate»* («оставь надежду всяк сюда входящий», — Ю. С.).

Победоносцев продолжает: «В такой-то бедности может ли народ сам собою, по выражению Половцова, «вздвигаться на вершины экономического довольства!». Без дома, без деревни, без земли, без капитала крестьянин станет рабом всякого разбогатевшего предпринимателя. Надо забыть, по мнению Половцова, излюбленное слово: кулак. Но как забыть об нем, когда он повсюду есть готовый воспользоваться пицетою и невежеством деревни, и в минуту пужды скупить у нее землю и пустить ее по миру?» Победоносцев предостерегал царя от шага, который действительно повел бы к крупнейшему перевороту в жизни деревни, к быстрому утверждению в ней капиталистических порядков, связанному, конечно, с массовым разорением крестьянства и быстрым выделением из его среды кулачества и вообще зажиточной прослойки. Несомненно, это повело бы к острейшему конфликту в масштабах всей страны, к тому, что громадная масса разоренных крестьян хлынула бы в поисках пропитания в города. Победоносцева такая перспектива приводила в трепет. «Можно ужаснуться, — писал он царю, — при мысли о наполнении больших городов наших массою рабочих, ничем не обеспеченных и бездомных, и об оскудении народом деревни, которая, во всяком случае у нас, есть главное хранилище нравственной силы народа».<sup>7</sup> Николай написал против этого места: «Это верно!».

Вот как воспринял и виднейший идеолог самодержавия и сам посетитель верховной власти угрозу существованию общины, вот почему не пошли они на ее роспуск, вот на какой антикапиталистической основе строилась внутренняя политика царизма, имевшая одновременно целью скорейшее создание в России промышленности. Все это достаточно показывает, что здесь дело не в простом недоразумении, как это представляется А. Гершенкрону, а в важнейшем принципе всего проводимого курса, неизбежно подготовлявшего почву для острейшего кризиса. Даже когда революция 1905 г. показала со всей ясностью, что ставка самодержавия на общину бита и оно пошло на ее ликвидацию, разрядка все же не наступила, напротив — положение в деревне обострилось: ведь самодержавие не пошло на реформы, вытекавшие из сделанного шага, но урезало и постаралось подорвать все то, что было у него вырвано революцией. А это неизбежно вело к новой революции.

Но всего этого у А. Гершенкрона нет, и наполненный конфликтами и столкновениями период 1907—1917 гг. он склонен

<sup>7</sup> ЦГАОР, ф. 543, оп. 1, д. 623. К. Победоносцев — Николаю II, б. д., л. 4.

считать периодом постепенного сглаживания противоречий, так как экономически капитализм окончательно стал доминирующей силой, достигнув надлежащей степени зрелости и самостоятельности. Между тем как раз промышленный подъем вел к новому обострению противоречий на фоне неуклонно проводимой властью политики недопущения каких-либо перемен в жизни страны и даже, насколько возможно, возвращения народа в прежнее бесправное состояние. Сражение принимало на этой почве все более ожесточенный характер, а по Гершенкрону же буря, разыгравшаяся в 90-е гг., вот-вот должна была стихнуть, и хотя иногда ветер снова достигал ураганной силы, то были все же последние порывы.

Подобная облегченная трактовка в последние годы стала вызывать растущий скептицизм и среди буржуазных ученых, и некоторые из них обнаружили известное понимание подлинной глубины и масштабности кризиса. И как бы ни толковали они самый этот кризис и какие бы ни находили ему объяснения, которые уже вызвали возражения со стороны советских исследователей, мимо него теперь уже нельзя пройти. Признание необходимости и закономерности революции пробило себе дорогу и на страницы исторических журналов и книг, выходящих в Англии и США, и к осознанию неизбежности взрыва приводит как раз изучение периода, давшего повод для «оптимистических» выводов.

Внимание советской общественности уже привлекла дискуссия, ведшаяся в американском журнале «Slavic Review» в 1964—1966 гг. именно в связи с тем, что в статье американского историка Леопольда Хаимсона была высказана мысль о нарастающих противоречиях существовавшей системы в период между революцией 1905—1907 гг. и войной 1914—1917 гг. и вытекавшей отсюда неизбежности возобновления открытой борьбы.<sup>8</sup>

Для советских историков не нова нарисованная им картина все увеличивающейся изоляции самодержавия вследствие политики непреклонного противодействия любым переменам, хотя бы самым незначительным, и решительного отказа царизма допустить к власти даже господствующие классы. Не вызывает сомнения и констатация дальнейшего расширения и углубления пропасти между имущими классами и всей трудящейся массой, особенно рабочим классом. Через эту пропасть никакие мосты уже не могли быть переброшены, поэтому в грядущей схватке быстро революционизирующий пролетариат должен был выступить и против царизма, и против стремившихся перехватить у него власть оппонентов. Но в буржуазной историографии показ Л. Хаимсоном общей и усиливающейся неустойчивости всего старого порядка, становившейся все более вероятной возможности его краха в це-

<sup>8</sup> См. статью Ю. И. Кирьянова и М. Г. Панкратовой «Новые тенденции в американской историографии предыстории революции 1917 г. в России» (История СССР, 1967, № 1, с. 195—207).

лом, являл собой как бы новое слово и дал повод к попыткам в той или иной мере опровергнуть как его аргументацию, так и, главное, выводы и изобразить эпоху как время сглаживания противоречий, мирной трансформации старого порядка в новый общественно-экономический уклад.

Главным оппонентом Л. Хаимсона выступил А. П. Мендель. В ставшей характерной для «оптимистов» манере он вовсе не отрицает существования явлений, о которых писал Хаимсон, но для него последнее десятилетие — «дальнейшая стадия в развитии, намеченном и начатом в 1905 г., а не предвосхищение октября 1917 г.».<sup>9</sup> При всех противоречиях, по Менделю, имело место их сглаживание. В котле еще много пара, и он даже прибавляется, но у него появился выход, и давление падает.

Насколько сложнее была действительность и насколько было мало шансов у старой России, столетия просуществовавшей при режиме самодержавия, уцелеть со всеми элементами нового капиталистического уклада, даже если бы властью завладели его представители, старается показать в своей статье Теодор фон Лауэ. Слишком непосильна, по его мнению, была тяжесть, налагаемая на самодержавную Россию участием во все обостряющейся борьбе великих держав и архаичное, враждебное новой жизни России, окончательно теряющее всякий кредит государственное устройство, не могло мобилизовать нужные ресурсы, развить настолько производительные силы страны, чтобы находиться на уровне своих партнеров и соперников, а силы, стремившиеся занять его место, были отделены глубокой пропастью от народной массы и при смене власти были бы брошены вместе со старым режимом. Общая концепция Т. Лауэ уже подверглась подробному критическому анализу в советской литературе. Критика в особенности коснулась его нежелания видеть в социалистической революции качественно новое явление, его сомнения в способности нового строя разрешить старые проблемы.<sup>10</sup> Для него «советский эксперимент представляет собой не более, чем контролируемое усилие заставить западный образец городского индустриального общества работать при русских условиях».<sup>11</sup> При такой интерпретации Т. Лауэ даже заявляет, что «сердце русского кризиса не задето». Но если эти выводы ставят его песомненно в ряд буржуазных ученых, — поскольку он отвергает учение о социализме как наиболее прогрессивной общественно-экономической формации, — то уже в этой среде, с которой его прочно связывает сущность его взглядов, он именно вследствие своего постоянного желания видеть в происходящем результат неуклонно действующих закономерностей встречает весьма критическое отношение. Его упрекают

<sup>9</sup> Mendel A. P. Peasant and Worker on the Eve of the First World War. — Slavic Review. 1965. № 1. p. 26.

<sup>10</sup> Олега И. Н. Индустриализация СССР в английской и американской историографии. Л., 1971. с. 98, 100, 105.

<sup>11</sup> Цит. по: И. Н. Олега. Ук. соч., с. 105.

в том, что он создал чрезмерно жесткую схему, согласно которой то, что произошло, должно было произойти, что он «преждевременно обрубаает альтернативы и при недостатке альтернатив он слишком поспешно перепрыгивает к детерминистским заключениям».<sup>12</sup>

А как далеко могут зайти иные коллеги Лауэ в поисках этих альтернатив, к созданию каких произвольных конструкций они способны, показывает отклик на дискуссию со стороны пользующегося известностью и часто выступающего на страницах американских журналов Дж. Л. Джени.

Он не признает правоты ни за одним участником полемики, и прежде всего по той причине, что в своей аргументации они оперировали такими понятиями, как классы, классовая борьба, классовые интересы. Для Дж. Джени это лишь «избитые клише, которые более уже не могут служить основой для даваемого историей объяснения перемен в обществе».<sup>13</sup>

Конечно, отрицать наличие в обществе конфликтов невозможно, — по причине их самоочевидности, но для Джени это лишь нечто вроде своеобразной дымовой завесы, за которой скрывается в общем вполне удовлетворительное функционирование общества как чего-то единого. Оно как механизм, который, может быть, работает с излишним скрежетом, части которого, может быть, не вполне хорошо пригнаны друг к другу, отчего и происходит трение, но приводит оно к тому, что в конце концов части притираются друг к другу. Для описания этой конструкции он пользуется термином *going concern*, то есть в вольном переводе «работающее сообщество».

Именно это «работающее сообщество» находит он в России в начале XX в. Конфликты конфликтами, но «правительство и общество сближались друг с другом и создавали общность, а во все не отчуждались одно от другого. Земства и деловые круги сотрудничали с центральным аппаратом управления во все увеличивающейся степени и с постоянно возрастающей эффективностью». Что касается крестьян, то они «быстро приспосабливались к современной юридической и хозяйственной системе благодаря проводимой правительством земельной реформе и распространению кооперации».<sup>14</sup> Создается впечатление, что существовавшее в России общество представляло собой вместе с властью одну большую семью, в которой были свои сложности, даже ссоры, но ссоры-то именно между родственниками, которые были нужны друг другу и в конце концов находили или могли найти общий язык. При таком подходе трудно признать существование революционной ситуации, тем более революционного кризиса. А если

<sup>12</sup> Там же, с. 99.

<sup>13</sup> Janey J. Social Stability in prerevolutionary Russia. A critical Note. — *Slavic Review*, 1965, № 3, p. 624.

<sup>14</sup> *Ibid.*, p. 523.

нечто в этом роде все-таки имело место, то причина сложившегося опять-таки вовсе не в борьбе, которую вели народные массы против существующего режима.

Ничего бы не случилось, по представлениям буржуазного историка, если бы не проявило слабости правительство, если бы оно не сплеховало. «Нужно, конечно, учитывать, росли или уменьшались уличные толпы в тот или иной момент, но подавление толпы, как подчеркивает Маркс, требует только батальонов. (Здесь Дж. Джени извратил самую сущность учения К. Маркса, показавшего как раз неотвратимость исторически назревших перемен, — Ю. С.). Устойчивость общества в предреволюционной России зависела от батальонов больше, чем от толпы и тех лозунгов, за которыми она шла». Поэтому вопрос для Дж. Джени сводится только к одному — «почему батальоны не оказались там, где они до того всегда были». А причину этого он видит в том, что правительство утратило решимость действовать, силу дать распоряжение батальонам приступить к подавлению «беспорядков», с чем те легко бы и справились, если бы только им были даны четкие и решительные указания. В случившемся виновато только правительство, а проявило оно бессилие потому, что слепо следовало за Западом, слепо подражало ему, вместо того чтобы беречь самобытность существовавших в России порядков. Для Дж. Джени вопрос сводится только к тому, «могло бы правительство по-прежнему поддерживать единство русского общества, или же оно было настолько ослеплено своими западническими целями, что потеряло волю к действиям?»<sup>15</sup>

Все эти рассуждения Дж. Джени зеркально передают то, что писалось в пореформенной России представителями и защитниками старых крепостнических порядков. От своего имели он подает аргументацию Мещерского, Каткова, Победоносцева, Пазухина и других, все свои надежды возлагавших на применение грубой силы, на сокрушительный кулак самодержавия, которое и само делало ставку на штык до самого последнего дня, думая, что с его помощью разрешит или устранил все проблемы, стоявшие перед властью и вообще всем старым порядком. Вот эта-то ставка на голую силу, на батальоны, и оказалась битой. И то, что в решающий момент батальоны повернули против самодержавия, не дело случая, не результат разъединенности власти, а отражение давно назревшей необходимости уничтожения архаического строя, на многие годы пережившего себя. Слишком очевидно, что армию нельзя было отгородить китайской стеной от жизни страны: как бы жестока и отупляющая ни была муштра, солдаты 1917 г. не были, а главное, не могли быть послушным и слепым орудием в руках обанкротившейся власти, как требовалось бы для расстрела восставших рабочих Петрограда. Поэтому напрасно пола-

---

<sup>15</sup> Ibid., p. 527.

гает Дж. Джени, что батальоны могли спасти царизм и только из-за каких-то второстепенных обстоятельств они не оказались там, где были всегда, т. е. на страже самодержавия.

Дж. Джени даже не ставит вопроса, что же такое было самодержавие как система; это привело бы его к вопросу, чьи же интересы оно отражало и в чем заключались его собственные интересы. Об этом — главном для понимания всей проблемы — он знает ничего не хочет, как не желает ничего знать и об обстановке, в которой существовало самодержавие, и о тех неразрешимых задачах, которые стояли перед властью. Тогда бы все, что Дж. Джени изображает, как легкомысленное заигрывание с Западом и пенужное подражательство ему, слово в слово пересказывая здесь Каткова, приобрело бы совсем иной смысл. Дело было, конечно, не в неизвестно откуда взявшемся (еще с XVI в., как напоминает с упреком Дж. Джени!) западническом увлечении, которое для блага власти нужно было поскорее оставить и вернуться, как писал Катков, к себе, к своим традициям, в свою историю, а в том, что глубокое преобразование всей жизни страны и всех государственных порядков вызывалось неотступной необходимостью, от которой самодержавию некуда было деться, поскольку оно участвовало во все обостряющейся борьбе великих держав. Для собственного спасения, — это хорошо понимали такие идеологи режима, как Валуев, Победоносцев, — самодержавие должно было набираться сил, чтобы не отстать далеко от своих быстро идущих вперед партнеров и соперников. Это обязывало самодержавие вступить на путь преобразований, характерных с точки зрения Джени, для Запада. Но причина кризиса власти состояла как раз в том, что царизм не пошел на реформы, которые сделались объективной необходимостью, ограничившись некоторыми подновлениями и частными реорганизациями. Делая один шаг, самодержавие отказывалось делать второй, тем самым аппулируя и первый, встав в конце концов непреодолимой преградой на пути продвижения страны вперед. Суть была в этом, а не в мнимом заигрывании с западными порядками.

Произвольность построений Дж. Джени обратила на себя внимание и американских историков. Теория «работающего сообщества» не выдерживает малейшего соприкосновения с действительностью, если взглянуть на нее с точки зрения того, что на самом деле представлял собой режим и каково было положение основных классов российского общества — попытка Дж. Джени упразднить категорию классов и классовой борьбы не получила признания даже со стороны тех, на кого она была рассчитана, но кто предпочел остаться на почве действительности вместо того, чтобы перенестись вслед за автором в мир фантазий.

С аргументированными возражениями Дж. Джени выступил А. Левип, обратив внимание прежде всего на основное направление политики самодержавия. Оценка ее сущности приводит его к выводу, что «все имеющиеся сведения создают впечатление, что

со времён наполеоновских войн происходит отчуждение режима от всех крупных составных частей русского общества». <sup>16</sup>

В последние десять-двенадцать лет своего существования, уже после образования Государственной Думы, и власть, и вообще весь аппарат управления продолжали оставаться на старых позициях. «Ход событий убедительно свидетельствует либо о неспособности такого режима достичь компромисса, либо об отсутствии интереса к этому». <sup>17</sup> Левин подчеркивает отказ царизма поступиться даже самой малой из присвоенных себе прерогатив. Теория «работающего сообщества» окончательно обнаруживает свою полную несостоятельность при сопоставлении с тем решающим обстоятельством, что «среди крестьян и рабочих было распространено недовольство, коренившееся в самой основе существующего положения, для ослабления которого на горизонте не было видно никаких средств». <sup>18</sup> К этому выводу он приходит с учетом шагов, сделанных в столыпинский период, считая, что и они не вели к выходу из тупика. Наконец, в самом общем плане — и здесь позиции Левина и Лауэ совпадают — для разрешения проблем, вставших в связи с полным преобразованием всей жизни страны, форсированным переходом из одного состояния в другое, для преодоления инерции всего предыдущего развития, — по мнению А. Левина, России требовались десятилетия. Не одно поколение должно было сменить другое, прежде чем в отдаленной перспективе появилась бы возможность справиться со всякого рода препятствиями и затруднениями. <sup>19</sup> Узел российских противоречий был завязан слишком туго, чтобы для его распутывания могло хватить десяти с небольшим лет, тем более что самодержавие, как все снова повторяет А. Левин, упорствовало в недопущении каких-либо перемен. Напротив, вплоть до самого краха старого порядка бюрократия «стремилась усилить контроль». <sup>20</sup> Обостряющаяся на этой почве борьба, развитие всех заложенных в существующей системе противоречий привели к «почти полной изоляции режима и это можно считать состоянием настоящей революции, активной или нет, с которой власть уже не могла справиться». <sup>21</sup>

Появление этих статей не только не положило конец полемике, но она разгорелась с новой силой по выходе в 1969 г. в США сборника «Россия при последнем царе», <sup>22</sup> в котором снова приняли участие А. Мендель, Л. Хаимсон и Т. Лауэ. Они подтвердили в новых статьях свою прежнюю аргументацию, несколько

---

<sup>16</sup> Levin A. More on social Stability 1905—1917. — *Slavic Review*, 1966, № 1, p. 152.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 151.

<sup>18</sup> *Ibid.*, p. 152.

<sup>19</sup> *Ibid.*, p. 152.

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 153.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 154.

<sup>22</sup> *Russia under the last Tsar*. Ed. by Th. G. Stavrou. Minneapolis, 1969.

развернув и разнообразив ее. Но в общем в сборнике преобладают работы, поддерживающие концепцию такого острейшего кризиса самодержавной России, что превращение ее в буржуазную страну было достаточно проблематично. В этом духе составлено написанное Т. Ставроу по материалам сборника предисловие. Пользуясь, естественно, принятой среди буржуазных историков терминологией, он в сущности исключает возможность мирного перехода России к новому общественно-экономическому строю. Возможность осуществления такого варианта он связывает с явно невыполнимым условием. «Николаевской России требовалось, — пишет он, — сознательное сотрудничество всех слоев и классов общества и правительства, чтобы выдержать без насильственной революции громадную трансформацию, которую она переживала».<sup>23</sup>

Однако реакция, констатирует он, главной опорой которой было самодержавие, вела непримиримую борьбу за сохранение существующего строя, видя врага в каждом, кто стремился к каким-либо переменам. Вероятность благополучного разрешения вставших во множестве проблем сводилась к минимуму уже вследствие того, что громадным, революционным по своему объективному значению, преобразованиям во всей жизни страны противостоял режим, на многие десятилетия отставший от своей эпохи. При всех поверхностных переменах сущность его была той же, что и во времена Николая I. «Только чистое безумие или наивность позволяли надеяться, что он будет успешно функционировать в конце столетия под руководством Николая II» — в категорической форме высказывает Ставроу свое убеждение в невозможности и дальше сохранять это архаичное устройство. Положение еще более осложнилось, когда в период существования третьиенюньских Дум самодержавие, менее чем когда-либо готовое к каким-либо уступкам, не говоря уже о дележе власти, пошло на конфликт и с Думой. Ставроу имеет основания заметить, что «пакануне своего низложения Николай II был расположен принять конституционный порядок в меньшей степени, чем когда-либо».<sup>24</sup>

В обстановке нарастающей борьбы и напряженности «либеральный, основанный на конституции строй, — приходит к выводу Т. Ставроу, — не имел реальных шансов на успех». Законодательная деятельность Думы, тем более лишенной, как он полагает, практической власти, не является для него доказательством противного.

Возрастающая слабость позиций «оптимистов» с особенной наглядностью обнаруживается в статье Менделя, сопоставившего аргументацию обеих сторон. Отдавая предпочтение «оптимистам», он все же остается неуверенным в их правоте, как это верно подметил и Т. Ставроу. Приведенные Менделем в обобщенном виде доводы «оптимистов» показывают, что их главным методом оста-

<sup>23</sup> Ibid., p. 8.

<sup>24</sup> Ibid., p. 10.

ется сглаживание реальных сложностей исторического развития, уход от рассмотрения противоречий, которые во множестве возникали при полном преобразовании на капиталистической основе такой громадной страны, как Россия. А между тем Мендель отдает себе отчет в том, что, начавшись в Западной Европе, эти преобразования, захватившие наконец и Россию, были грандиозными (он их называет *gargantuan transformation*). Правда, именно мощь и неодолимость этого процесса и служат «оптимистам» основанием для их выводов. Сила неотвратимого развития должна была покорить и такую силу, как самодержавие. Потерпев поражение в Крымской войне, оно теперь было вынуждено пойти на реформы, ошибочно надеясь в первую очередь укрепить ими себя. Мендель верно нацупал здесь основное противоречие внутренней политики царизма. Главное заключалось для власти в том, что «при всех этих смелых переменах в структуре общества, в аппарате управления самодержавие должно было остаться неизменным, а если уже быть затронутым реформами, то только в виде прироста собственной силы».<sup>25</sup> В этом и состоял основной просчет самодержавия, потому что «теми же средствами, которые использовались, чтобы укрепить себя, оно сеяло семена собственной гибели».<sup>26</sup> Но это противоречие тут же разрешается безболезненным образом. Окончательный проигрыш царизма в борьбе с выступавшими против него силами, неодолимо возникшими как раз на почве поощрения промышленности, — это только лишь вопрос времени в интерпретации «оптимистов», и притом близкого времени. «Все, казалось, благоприятствовало полному успеху».<sup>27</sup> К 1914 г. были уже сделаны решающие шаги. Политическим переменах соответствовало подобное же развитие в области экономики, а также культуры. Буржуазный строй собственно уже одержал бескровную победу — самодержавие вот-вот должно было признать этот факт и сдаться, а точнее — без шума незаметно сойти со сцены. Та революция, которая все же произошла, в эту схему никак не укладывается и ее отпосят только за счет войны, а главное — упорного нежелания самодержавия поступиться властью и всего его переходящего всякие разумные границы поведения.

Все многообразие противоречий сводится сторонниками этого объяснения только к одному конфликту между самодержавием и формирующимся на почве буржуазных отношений обществом при полном игнорировании острейших и нарастающих противоречий внутри самого этого общества, на которые обращают внимание в первую очередь Лауэ и Хантсон.

Из всего многообразия причин, приведших царизм и вообще весь старый строй к краху, выделяется поэтому только одна. «Мне кажется, что если бы не полная изоляция царя, его жены и самого

<sup>25</sup> Russia under the last Tsar. Ed. by Th. G. Stavrou. Minneapolis, 1969, p. 19.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid., p. 23.

близкого к ним круга»,<sup>28</sup> то и февральские события не вызвали бы перехода войск на сторону восставших рабочих, — высказывает Мендель суть такого подхода, повторяя в общем рассуждения Дж. Джени о решающей роли батальонов в историческом процессе, было бы только кому отдавать им соответствующие приказания.

Мендель, по-видимому, всерьез думает, что все было бы иначе, если бы «царь остался на позиции, которую он занял после отступления 1915 г., держался бы позади способных министров, поставленных у власти в это время, и возглавил бы патриотическую Думу и старания общества направить слабеющие силы для продолжения войны».<sup>29</sup> Он этого не сделал «по какой-то фантастической, необъяснимой причине».

Мендель в этом случае представляет пример того, что «оптимисты» в разыгрываемых ими комбинациях способны совершенно сойти с почвы фактов, и потому очевидное начинает казаться им «фантастическим и необъяснимым». Очевидным же является тот факт, что для самодержавия все, кто протягивал руку к власти, были врагами, с которыми на протяжении всех послереформенных десятилетий велась бескомпромиссная борьба. Сам Мендель ранее отметил ту главную особенность действий царизма, что все, что самодержавие предпринимало, оно предпринимало для собственного усиления. Оно никогда не упускало из виду свои собственные интересы, постоянно выдвигало на первый план заботу об укреплении своего всевластия. Если бы Мендель постоянно помнил об этом, то действия Николая во время войны перестали бы ему казаться фантастическими и непонятными, так как очевидно, что враг внутренний был страшен для царизма не менее, чем враг внешний. На это обстоятельство и указывают оппоненты «оптимистов», об этом пишет и сам Мендель, подчеркивая всю фантастичность надежд на добровольное отречение самодержавия от власти.

К выводу, что причина событий 1917 г. вовсе не произвольное стечение случайных недоразумений и все будто бы могло повернуться иначе, если бы царь проводил политику, противоположную той, какую он проводил в продолжение всего своего царствования и какую осуществляли его предшественники на тропе в продолжение срока своих правлений, пришел в конце концов и такой авторитет по истории России в современной буржуазной историографии, как Дж. Кеннан. Меняя свою прежнюю точку зрения, он стал видеть в крахе царизма итог и необходимое завершение процессов, развивавшихся десятилетиями. Судьба царизма, полагает он теперь, была окончательно решена во второй половине 90-х гг., когда была упущена последняя возможность мирного преобразования в конституционную монархию. В 1905 г. революция вынудила царизм создать Государственную Думу,

<sup>28</sup> Ibid., p. 37.

<sup>29</sup> Ibid.

по было уже слишком поздно.<sup>30</sup> Однако намечаемая им потенциальная возможность перехода царизма к конституционной форме правления и в его собственном представлении носит скорее умозрительный характер, — для этого «приходится ожидать слишком большой дальновидности от самодержцев династии Романовых, включая даже Александра II, над которыми тяготело наследие неограниченного самодержавия».<sup>31</sup>

Основы существующего порядка продолжали постоянно разрушаться под воздействием и некоторых других объективных процессов, а между тем к моменту войны ничего не было сделано, чтобы поправить положение.

Таким образом, и видным представителям лагеря «оптимистов» начинает казаться сомнительным тезис, будто царизм имел неограниченную свободу маневра и воли и легко мог перейти к проведению политики, противоположной всему тому, что делалось прежде и что необходимо вытекало из сущности самодержавия и всех его вековых традиций, исключавших легкий переход к буржуазно-конституционным методам правления. Иные буржуазные историки начинают замечать, что самодержавие слишком крепко и слишком давно срослось с всевластьем, чтобы просто и безболезненно с ним расстаться, что действия его были обусловлены не прихотями и капризами Николая и царицы, а природой того режима, который они возглавляли.

Рассмотрение общей эволюции заставляет признать наличие и определяющую роль ряда объективных процессов, которые неотвратно вели к дальнейшему нарастанию кризиса всей существующей системы. Проведенные в последние годы конкретные исследования различных сторон предвоенной политической действительности обыкновенно подводят их авторов к выводу, что и с применением столыпинских методов не удалось найти выход из противоречий, разрешить стоявшие перед самодержавием проблемы. Еще в 1965 г. английский историк В. Мосс, изучая столыпинскую реформу, которая наряду с предвоенным промышленным подъемом служит как бы краеугольным камнем всех построений «оптимистов», убедился в неудаче этого важнейшего шага царизма. Политически деревню умиротворить не удалось. «Сопrotивление столыпинской политике со стороны рядового русского крестьянства было значительно более сильным, чем иногда предполагают»,<sup>32</sup> — пишет он. Точно так же и в экономическом плане не удалось создать «процветающее крестьян-

---

<sup>30</sup> Russia under the last Tsar. Ed. by Th. G. Stavrou. Minneapolis, 1969, p. 6.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Mosse W. E. Stolypin's villages. — Slavonic and East European Review, 1965, vol. XLIII, № 101, p. 268. О трактовке столыпинской реформы историками Англии и США см. статью П. И. Зырянова «Современная англо-американская историография столыпинской аграрной реформы» (История СССР, 1973, № 6).

ство». Его заключение звучит достаточно категорично: «В целом землеустроительная политика никогда не выглядела способной дать эффективное решение крестьянского вопроса в России. Скромным был ее действительный вклад в разрешение этой проблемы. Вряд ли требовался предметный урок 1917 г., чтобы показать, что во всех главных отношениях столыпинская реформа оказалась безусловной неудачей».<sup>33</sup> Мосс вполне присоединяется к высказанному в свое время Кутлером мнению, что для приведения реформы к успешному завершению понадобилось бы лет сто, а вовсе не двадцать, как рассчитывал сам Столыпин.

Изучая политику русского правительства в области местного самоуправления, английская исследовательница Мэри Конрой также склонна считать, что и в данной области в действиях Столыпина преобладало старое, и даже наличие кое-каких нововведений не создало нового положения, да и сам инициатор попыток какого-то обновления режима не представлял собой новатора. Это был в ее оценке «представитель того типа, который возникает время от времени в XIX и в начале XX столетия в истории России — просвещенный деспот-администратор»,<sup>34</sup> ставящий своей главной целью при всех проводимых подновлениях и именно с их помощью укрепить самодержавную власть. «Несмотря на увеличившееся давление с целью привести управление в современное состояние и существование законодательного собрания, — отмечает она коренную противоречивость проводимой линии, — Столыпин упорно держался этой патерналистской концепции и делал лишь минимальные уступки исходящим со стороны народа пожеланиям».<sup>35</sup> С точки зрения этого основного противоречия рассматривается и политика в отношении органов местного самоуправления. Предполагая увеличить их значение, Столыпин вместе с тем «не допустил их превращения в некий противовес правительственным органам».<sup>36</sup>

Опубликовавший почти одновременно с Конрой статью об отношениях правительства и Думы, Дж. Хоскинг ставит вопрос об общей политической неудаче третьиюньской системы, притом что в годы премьерства Столыпина наметилась некоторая возможность совместных действий самодержавия и его оппонирующих союзников в лице октябристов с последующим слиянием обеих сил в какую-то новую работоспособную политическую общность. Неудача зарождающегося союза он приписывает сопротивлению «незначительных по численности, по политически могущественных группировок из окружения монарха».<sup>37</sup> Их влия-

<sup>33</sup> Ibid., p. 274.

<sup>34</sup> Conroy M. S. Stolypin's Attitude toward Local Self Government. — Slavonic and East European Review, 1968, vol. XLVI, № 107, p. 446.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid., p. 450.

<sup>37</sup> Hosking J. P. A. Stolypin and the Octobrist Party. — Slavonic and East European Review, 1969, vol. XLVII, № 109, p. 137.

ние, дополняемое разногласиями среди октябристов, сделали «невозможным функционирование третьеиюньского союза». Действительно, изменчивая по составу камарилья постоянно сопротивлялась каким-либо уступкам и даже видимости их, хотя вряд ли верно объяснять дезавуирование линии на соглашение с третьеиюньскими Думами — как будто бы идеальными партнерами для царизма — одним противодействием близких к власти элементов. Провал третьеиюньской системы во всех основных аспектах, включая сюда и отношения с Думой, закономерно подготавливался объективной неспособностью самодержавия, ни с кем не собиравшегося делиться верховной властью, примирить противоречия, созданные всем послереформенным развитием и революцией 1905—1907 гг. К мысли о существовании глубокой первоосновы случившейся неудачи Хоскинг подходит в изданном им в 1973 г. книге «The Russian Constitutional Experiment», где он пишет, что в предвоенное семилетие социально-политический конфликт оставался настолько острым, пусть и в скрытом виде, что разрешать его мирно, на пути реформ вряд ли было возможно.<sup>38</sup>

Обращает на себя внимание и весьма критическая рецензия, которой отозвался В. Мосс на выход в 1971 г. в английском переводе сборника статей под редакцией Г. Каткова «Вступление России в XX столетие. Факты и легенды. Политика. Общество. Культура. 1894—1917», изданного в Западной Германии в 1970 г. Авторы приурочили его выход к столетнему юбилею со дня рождения В. И. Ленина, имея задачей доказать наличие множественности возможностей, открывавшихся перед Россией в последние два с половиной десятилетия существования самодержавия. И хотя во введении специально оговаривалось, что книга не имеет целью замечать «односторонне отрицательное толкование» столь же односторонне положительным и что «Россия при Николае II находилась в сложной переходной фазе, преодоление которой было, однако же, существенно затруднено запоздалыми частичными реформами в политической области»,<sup>39</sup> смысл издания состоял все же в том, чтобы осторожно подвести читателя к мысли о необязательности Октябрьской революции, а для этого дать облегченное изображение реальной исторической действительности, делая упор на «прогрессе», достигнутом во всех сферах жизни. Картина происшедшего в России, созданная совместными усилиями авторов сборника, своей малой правдоподоб-

<sup>38</sup> О книге Хоскинга см. рецензию Г. З. Иоффе (История СССР, 1974, № 6). В США на эту книгу отозвался Л. Левин, подтвердивший, что тезис о неудаче столыпинской попытки войти в союз с Думой вполне обоснован. Однако в духе аргументации «оптимистов» и противореча самому себе, он доказывает, что обостряющийся кризис в конце 1900-х заставил бы самодержавие пойти на компромисс, что при желании оно могло еще найти выход из положения, тем более если бы времени было побольше (см.: Slavic Review, 1974, vol. 33, № 2).

<sup>39</sup> Ruslands Aufbruch ins 20 Jahrhundert. Tatsachen und Legenden. Politik. Gesellschaft. Kultur, 1894—1917. Freiburg i/B., 1970, S. 8.

постью вызвала самую неодобрительную оценку У. Мосса. Немецкое издание, по его мнению, еще более проигрывает при сопоставлении с книгой примерно того же содержания, составленной годом раньше под редакцией Т. Ставроу. Нельзя отказать в основательности многочисленным и самым разнообразным претензиям, предъявленным к сборнику, в которых передана сущность взглядов буржуазных историков, оппонирующих «оптимистам». «Настоящий том обнаруживает лишь ограниченное понимание природы проблематичного прогресса, достигнутого Россией, или характерной неравномерности ее развития». В целом Мосс подвергает резкой критике общий подход участников сборника к изучаемой ими эпохе. «С необыкновенной легкостью упущен из виду тот факт, что, несмотря на прогресс в экономическом развитии или в образовании, жизненный уровень подавляющего большинства населения оставался страшно низким, чему соответствовал уровень культуры и даже простой грамотности. Пропась между „привилегированной Россией“ и „темным народом“ не стала сколько-нибудь меньше, зависимость от зарубежной технологии и ресурсов сократилась не намного. Политическая структура империи (несмотря на игру в парламентаризм) не сумела приспособиться к общественным и умственным переменам. Николай II со своим словно средневековым подходом к обстановке, своей истеричной супругой, своим двором, состоявшим из шарлатанов, авантюристов, оппортунистов, интриганов и раболепствующих прислужников, своим мистицизмом, пережившим себя культом самодержавия и любительской политикой был живым (и опасным) апахронизмом».<sup>40</sup> Перечислив все эти крупнейшие пороки существующего строя, совсем упущенные авторами, рецензент пришел к тому логичному заключению, что «никто из читателей этой книги, не получит ничего, даже отдаленно похожего на истинное представление о том, чем было русское общество при последнем царе. Россия, действительно, как и говорит название, вступила в XX век. Но вступила при самодержавном правителе, который принадлежал к XVII столетию».<sup>41</sup>

Но какой бы обоснованной и даже, как в приведенной рецензии, резкой ни была критика в адрес «оптимистов», исходящая даже из их же лагеря, опи в дальнейшем будут несомненно пропагандировать свои взгляды и теории, хотя бы к сознанию их легковесности пришло бы все большее число их же по сути дела единомышленников.

Едва ли не яснее и четче всего среди участников полемики высказался о связи политики и истории А. Мендель в заключительных абзацах своей статьи, помещенной в сборнике «Россия

---

<sup>40</sup> См.: Mosse W. E. [Рец. на кн.:] Katkov G. et al. *Russia enters Twentieth Century*. London, 1971. — *Slavonic and East European Review* 1972, vol. LI, № 118, 1. p. 132.

<sup>41</sup> Ibid.

при последнем царе». Главное для него — это «отношение между историческими исследованиями таких отсталых стран, как Россия, и современным и будущим развитием в Азии, Африке и Латинской Америке». Подходя с этой практической точки зрения к развернувшимся дебатам и обращаясь прежде всего к Лауэ с его поисками «невидимых глазу необходимостей», он упрекает представляемое оппонентами направление в том, что в современной борьбе, развернувшейся на огромных пространствах земного шара, оно может помешать тем, кто стремится утвердить буржуазный строй. «Ретроспективный пессимист, чье изображение недостаточно развитой царской России исключает возможность установления либеральных, основанных на конституции порядков в качестве альтернативы самодержавию, вряд ли обнаружит обнадеживающие перспективы для либерализма в современных обществах, которые он сочтет сравнительно отсталыми, и постоянно будет существовать искушение перенести „невидимые глазу необходимости“ с прошлого на настоящее. Но еще большая опасность заключается в том, что политические деятели могут отнестись с доверием к претензиям историков, будто они открыли „невидимые необходимости“»,<sup>42</sup> — откровенно говорит Мендель об источниках своего беспокойства.

Его смущает именно то, что сторонники буржуазной системы, убедившись под влиянием имеющегося исторического опыта в бесперспективности своего дела, могут сложить оружие раньше времени. «Если мы примем во внимание тот факт, что сегодня в Азии, Африке и Латинской Америке преобладают многие из тех условий, которые, согласно пессимистическим истолкователям русской истории, сделали невозможным существование основанного на конституции порядка в добольшевиетской России, то мы тут же сможем оценить потенциальный вред подобной „объективности“»,<sup>43</sup> — указывает он на ту почву современных реальных интересов, на которой произрастает теория «оптимистов» и которая всегда будет питать это направление, не давая ему исчезнуть, как бы ни было велико его расхождение с фактами. Тем не менее в последние годы в американской и английской буржуазной историографии как под воздействием уже накопленного фактического материала, так и под влиянием советской историографии, которую серьезные зарубежные историки не могут игнорировать, распространилось представление об исключительной остроте и масштабности переживавшегося старой Россией кризиса и неспособности самодержавия справиться с возникавшими во множестве проблемами. Мысль, что революция в этой обстановке становилась объективной необходимостью, приобрела значительное число приверженцев.

---

<sup>42</sup> Russia under the last Tsar, p. 40.

<sup>43</sup> Ibid., p. 41.